

Михаил Петрович Арцыбашев

Человеческая волна



Михаил Арцыбашев

Человеческая волна

«Public Domain»

1905

Арцыбашев М. П.

Человеческая волна / М. П. Арцыбашев — «Public Domain», 1905

«Можно было забыть, что через несколько часов город будет разгромлен пушками, что на тротуарах будут валяться окровавленные трупы, что жизнь приняла странные и тревожные формы, что судьба каждого человека висит на волоске, но нельзя было забыть, что на земле стоит теплый, весенний вечер, в потемневшем небе тихо зажигаются звезды, от газонов бульвара тянет густым, пряным запахом земли, с моря дует теплый, почти летний ветер и дышится так легко, как может дышаться только теплой, тихой и ясной весной...»

Содержание

I	5
II	10
III	15
IV	17
V	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Михаил Петрович Арцыбашев

Человеческая волна

I

Можно было забыть, что через несколько часов город будет разгромлен пушками, что на тротуарах будут валяться окровавленные трупы, что жизнь приняла странные и тревожные формы, что судьба каждого человека висит на волоске, но нельзя было забыть, что на земле стоит теплый, весенний вечер, в потемневшем небе тихо зажигаются звезды, от газонов бульвара тянет густым, пряным запахом земли, с моря дует теплый, почти летний ветер и дышится так легко, как может дышаться только теплой, тихой и ясной весной.

И оттого самые страх и тревога принимали форму любопытного и бодрого оживления, а идя через городской сад и глядя вверх, где между черными веточками, отчетливо чеканящимися в воздушно-синем просторе, золотистыми искорками мигали звезды, студент Кончаев думал не о том, что будет завтра, не о взбунтовавшемся броненосце, серые трубы которого и в весеннем сумраке жутко чернели далеко на море, не о многоголосой толпе, из которой он только что вырвался и гул которой все еще стоял у него в ушах, а о том, что на свете есть радость и красота.

И в душе у него было такое чувство, точно где-то тут, вокруг него, во влажном, свежем и темно-прозрачном воздухе весеннего вечера невидимым хороводом обвиваются, улыбаясь и маня, милые, нежные девушки и гибкие, лукавые женщины сладострастных снов. Грудь дышала легко и глубоко, по телу распространилась какая-то мечтательно-сладкая истома, и хотелось чего-то сильного, красивого и страстного до восторга.

«Хорошо, интересно жить!» – бессознательно чувствовал Кончаев.

Ему захотелось сейчас же, никуда не заходя, пойти в тот знакомый переулок, где жила Зиночка Зек, потихоньку вызвать ее на темную улицу, рассказать ей что-то хорошее, задушевное и в сумраке близко смотреть на нежное, молодое, как весна, личико с большими, как будто радостно удивленными светлыми глазами и мягкими пушистыми волосами, что двумя недлинными косами перекинуты через гибкие плечи на невысокую молодую грудь.

Но Кончаев сейчас же вспомнил, что раньше надо разыскать доктора Лавренко и передать ему предложение комитета об организации летучего санитарного отряда.

Ему сделалось немного стыдно, что он чуть было не забыл о важном большом деле, но так было сильно в нем радостное, весеннее чувство, что и сам доктор, и летучий лазарет, и завтрашнее страшное и кровавое дело никак не укладывались в его мозгу и все казались ему короткими, мелкими, которые сейчас пройдут и исчезнут, и тогда можно будет делать самое важное и интересное: идти к Зиночке Зек, вызвать ее на темную, тихую и теплую улицу.

Сдвинув шапку на затылок, распахнув пальто и бессознательно, но радостно чувствуя себя сильным и красивым, Кончаев повернул за угол и сразу увидел желтые огни ресторана, где, как он отлично знал, всегда можно найти доктора Лавренко.

В ресторане было очень мало народу – все ушло на улицы, набережные и бульвары, и оттого ресторан казался по-праздничному прибранным, чистым, а открытые окна, от которых глаз отвык за зиму, придавали ему особенный, свежий и праздничный вид. Зато в бильярдной, несмотря на раскрытые окна, было по-обычному душно, накурено и шумно. Игроков было много, и их напряженные потные лица, со странным полубезумным огоньком в глазах, поразили Кончаева.

«Вот уж ничто их не берет!» – со смешливым и чуть-чуть презрительным недоумением подумал он.

Доктор играл за вторым бильярдом, и когда Кончаев его увидел, Лавренко, перегнув над ярко-зеленым сукном бильярда свое большое ленивое тело, уверенно и странно-ловко для такого большого неуклюжего человека целился в дальний шар, красиво маячивший на ровном зеленом поле.

«...Тра-тах!» – щелкнули шары и разбежались во все стороны торопливо и весело, как живые.

Кончаев сзади взял доктора за локоть.

– А, шо? – лениво спросил Лавренко, оборачиваясь. – А, это вы!

– Я, здравствуйте!.. Послушайте, доктор, вы скоро кончите?.. Мне с вами надо поговорить...

– Сейчас, – не поворачиваясь и не спуская глаз с повисшего над лузой шара, ответил Лавренко и пошел кругом бильярда.

– Четырнадцать в угол налево, – громко и отчетливо выкрикнул он, не обращая внимания на Кончаева, и с особой своеобразной грацией хорошего бильярдного игрока вперед и взад взмахнул кием.

Белый шарик, как белая молния, мгновенно мелькнул по зеленому полю и с характерным треском скрылся в лузе.

– Партия, – торжественно провозгласил маркер и длинной машинкой загреб остальные шары к борту.

Высокий черный армянин, партнер Лавренко, с досадой швырнул свой кий на сукно. Лавренко с минуту стоял, опершись кием на бильярд, и самодовольно глядел на армянина. Потом с сожалением глубоко вздохнул и, тихо положив кий, отошел к умывальнику.

– Ну, голубь мой, в чем дело? – мягким и ленивым голосом спросил он у Кончаева, старательно вытирая полотенцем пухлые, как у булочника, безволосые и белые руки.

– Тут неудобно, – сдержанно и выразительно ответил Кончаев, искоса оглядываясь, – пойдемте лучше пройдемтесь.

Лавренко опять тяжело вздохнул, посмотрел на бильярд, которым уже завладели какие-то люди с сомнительными жадными физиономиями, и с усилием стал натягивать заворачивающееся пальто на свои круглые, как у пожилой толстой бабы, массивные плечи. Маркер подержал ему рукав.

– Анатолий Филиппович, время за кем прикажете? – спросил он, и по его почтительно фамильярному тону видно было, что доктор Лавренко тут свой человек.

– За ними, за ними, Иван, – машинально, но почему-то очень грустно отозвался Лавренко.

Они медленно вышли на темную улицу, и сразу им в лица пахнуло свежестью, ветром и смешанным запахом сырости и тепла. Фонари не горели, и земля была черна, как тьма, но отовсюду во мраке слышались голоса и смутно виднелись живые тени.

Все было странно и необычно: и мрак, и закрытые окна магазинов, и громкие возбужденные голоса, и необычное таинственное движение невидимых, но чувствуемых вокруг людей. В этом было что-то лихорадочное, пугающее, но возбуждающее сердце к каким-то несознанным порывам. Как будто над городом пронеслось что-то свободное и, одним взмахом невидимого могучего крыла смета всю привычную аккуратную жизнь с ее порядком, равномерным шумом и тусклыми огнями, открыло жизнь новую, загадочную, тревожную и бодрую, в которой было что-то похожее на предрассветную зыбь в море.

Чем дальше углублялись во тьму улиц Лавренко и Кончаев, тем сильнее охватывало их радостное оживление. Вокруг в темноте двигались целые толпы, слышались голоса и смех, изредка то близко, то далеко вспыхивало и обрывалось начало песни. Было похоже на какой-то ночной праздник, и в темноте все люди казались одинаковы и одинаково радостны и бодры.

Кончаев, как молодая собака в поле, чутко поворачивал во все стороны голову.

– А здорово, ей-богу! – вскрикнул он молодым восхищенным голосом.

– Да!.. Надолго ли только?.. – тихо пробормотал Лавренко.

– Ну, что ж?.. Все равно! – еще громче, еще моложе крикнул Кончаев, коротко и бесшабашно махнув рукой. – Важно то, что все почувствовали, что такое свободная жизнь, почувствовали, как с нею и все становятся лучше, общительнее, интереснее... Этого уж не забудут, а все остальное чепуха.

– Верр-но! – необычайно внушительно и так неожиданно близко, что Лавренко даже отшатнулся, прогремел из темноты громадный бас. – Р-руку, товарищ!..

Перед ними выросло несколько темных, как будто безличных силуэтов, и кто-то нашел и сжал руку Кончаева твердой шершавой ладонью.

– Свобода, а на все прочее начхать!.. Правильно я говорю, товарищ? – пробасил голос.

– Правильно, товарищ! – задушевно и ласково отозвался Кончаев.

– Пушай завтра все померем, а уж мы им покажем, – сказал еще чей-то голос, такой же молодой и задорный, как у Кончаева.

– Да, да... – тяжело вздыхая, согласился Лавренко.

Они разошлись, но у Кончаева еще долго сердце билось восторженно и на глазах выступали слезы.

– Взять хоть одно это слово: «товарищ», – прерывисто говорил он, глядя перед собой в темноту широко раскрытыми, влажными глазами, – только в такое время люди чувствуют, что они действительно товарищи...

– По несчастью... – с тихой иронией подсказал Лавренко. – Впрочем, вся жизнь человеческая – несчастье, – прибавил он задумчиво.

– Ну, так что же вы мне скажете, голубь мой? – спросил он, когда они дошли до бульвара и остались одни среди еще черных прозрачных деревьев и запаха первой травы перед лицом далекого звездного неба. Днем отсюда было видно открытое, голубое море, на которое каждый день приходил подолгу смотреть Лавренко, но теперь было темно и только по тому, как низко, точно подвешенные над какой-то пустотой, блестели звезды, чувствовалось оно. Горизонта нельзя было отделить от черного неба, и все сливалось в одну воздушную безграничную пустоту. Далеко, далеко внизу слабо светились два неподвижные огонька, красный и зеленый.

– Вон видите, – оживленно и быстро сказал Кончаев, протягивая куда-то во мрак руку, – это, должно быть, на броненосце.

По звуку его голоса можно было догадаться, как блестят у него глаза и горят щеки.

Лавренко тяжело вздохнул в темноте. Лица его тоже не было видно, но чувствовалось, что оно тревожно и грустно.

– Что-то будет, что-то будет, голубь мой, – тихо и печально проговорил он.

– Ну, вас, кажется, это не очень беспокоит, – вспоминая бильярд, смешливо возразил Кончаев.

Лавренко вздохнул еще глубже и промолчал.

– Так вот что, доктор, – заговорил Кончаев, беря его под толстую теплую руку, и, сразу меняя тон на серьезный и даже неестественно торжественный, передал Лавренко распоряжение комитета.

Лавренко слушал молча, а когда Кончаев замолчал, опять тяжело вздохнул.

Эти вздохи почему-то раздражали Кончаева.

– Да что вы все охаете, доктор? – досадливо спросил он, выпуская его руку.

– Да что, голубь мой, – искренно и мягко ответил Лавренко. – Грустно все-таки...

– Что ж тут грустного?

– Будут стрелять, народу перебьют много, а что из того? Для чего?

– Как для чего? – вспыхивая, переспросил Кончаев. – Жертвы нужны для каждого большого дела. Без этого нельзя... За что? За общее дело, за свободу.

– Для кого? – тихо спросил Лавренко.

Кончаев почувствовал, что доктор грустно улыбается во тьме.

– Для всех! – мгновенно раздражаясь молодым и пылким задором, ответил он.

– Нет, не для всех... – еще печальнее и тише возразил Лавренко. – Свобода будет для тех, кто останется в живых, кто в число жертв не попадет, голубь мой... А для тех, кто погибнет, будет уж не свобода, а только смерть... Те, которые принесут в жертву сотни жизней, будут видеть: для чего, за что, а те, которые умрут, умрут, голубь мой, так, ни за что, ибо для них все будет кончено, и кто же покажет им, за что они умерли... Да!.. Если бы можно было верить... Не говорю уже в будущую жизнь, а хоть в торжество своей идеи... Но люди живут уже тысячелетия, а посмотрите: не несчастнее ли они тех, что умерли еще в каменном веке? Кто знает?.. Эта радость, которую мы видим сейчас в людях, не есть радость победы, а только оживление борьбы и самообман. А если бы мы и победили, то кто же поручится, что и через тысячу лет, когда принципы нашей революции восторжествуют, люди будут на йоту счастливее... Да, голубь мой!.. С большим страданием и скорбью можно думать о борьбе, ибо ничего тут не поделаешь, но радоваться тут нечему. И ни один человек, совершенно спокойно, а не в состоянии аффекта, не согласится на роль жертвы, всякому хочется жить и пережить, и получить свободу именно и прежде всего для самого себя... У всякого есть надежда, что убьют не его... Оттого только и идут.

– Не все так думают, – пожал плечами Кончаев, почему-то не удерживая в мозгу все слова Лавренко и возражая только последним, – многие жертвуют совершенно сознательно... Да что! Я, например, вовсе не герой, но никогда об этом не думал. Ну, убьют... что ж из этого? Умирая, я буду сознавать, что погиб за общее дело, за огромное дело, в миллионы раз большее моей маленькой личной жизни.

– Это потому вы будете так сознавать, голубь мой, – ласково проговорил Лавренко, – что это общее, как вам кажется, дело есть прежде всего ваше дело. Вы хотите свободы, хотите, выражаясь грубо, поставить на своем, сделать революцию и освободить людей, и за это ставите свою жизнь на карту. Это так, и я это понимаю... Но мне кажется, что вы ставите революцию выше своей жизни только потому, что вы еще очень молоды душой и не успели сознать, какое единственное, ни с чем не сравнимое сокровище для вас – ваша жизнь.

– А вы сознаете, – насмешливо вставил Кончаев, взглядывая на него сверху вниз и ничего не видя, кроме бледного, расплывчатого пятна.

– Я сознаю, – тихо ответил Лавренко. – Ведь все, что есть вокруг, существует только потому, что вы существуете... Это старая мысль, голубь мой, конечно... А только все-таки это правда... Как хорошо все, что вокруг нас... И море, и звезды, и ночь, и наше созерцание!.. Сколько на земле радости, жизни, солнца!.. Ведь мы только потому и бьемся так за свободу для всех, что жизнь так хороша и что много есть людей, которым не дают жить, отнимают у них всякую радость и преждевременно гонят, вколачивают, вмаривают их в могилу... Если бы жизнь для каждого человека не была так дорога, так чего ради стали бы мы так страдать, мучиться и бороться за нее для всех... Ну, гонят их в могилу, и пускай. Стоит ли из-за этого беспокоиться... Тогда не революционные, а самоубийственные идеи стали бы мы проповедовать... И самым великим человеком, истинным благодетелем человечества считался бы тот, кто выдумал бы рациональнейший безболезненный способ самоубийства... Оттого, что жизнь так светла сама по себе, оттого и чувство самопожертвования так светло... Жертвуется самое дорогое, самое светлое, самое незаменяемое... Я, голубь мой, жизнь люблю, люблю солнце, милых девушек, молодость, воздух, счастье люблю!..

В его всегда ленивом голосе зазвенели и сорвались страстные и скорбные нотки.

«Вот... а сам только и делает, что на бильярде играет!» – удивленно мелькнуло в голове у Кончаева, и тихая задумчивость залегла у него в душе, точно кто-то задал ему глубокую и печальную загадку.

– Но вы, однако, предложение комитета принимаете все-таки? – озабоченно встряхнув головой, после долгого молчания спросил он.

Лавренко ответил не сразу.

– Об этом что говорить... – медленно ответил он. – Хотя, по правде сказать, трудно это для меня.

– Почему?

– Ленив я очень, – улыбаясь в темноте, ответил Лавренко, – а главное, что греха таить, боюсь... Боюсь, голубь мой... Вы знаете, чем это кончится... Нас, конечно, разобьют, потому что силы у нас мало, организация слабая, а тогда, если не убьют раньше, многих постигнет такая расправа, что... Ну, да что об этом говорить! – повторил, махнув рукой, Лавренко. – Вы куда теперь?

Смутная тревога шевельнулась в мозгу Кончаева. Но он опять встряхнул головой и ответил:

– Я тут недалеко, к знакомым.

– Ну, прощайте, голубь мой, может, завтра еще увидимся! Лавренко подал ему свою руку, и Кончаев не сразу нашел ее в темноте. Рука доктора была горяча и как будто слегка дрожала.

– Тогда можно будет бежать за границу, – неожиданно сказал Кончаев, отвечая тому внутреннему, что как будто передалось ему по руке доктора.

Лавренко помолчал, точно обдумывая.

– Нет, где уж мне, голубь мой, бежать! – с добродушно-грустной иронией возразил он. – Толст я очень, не побегу.

– Да вы не волнуйтесь так, доктор, – весело сказал Кончаев, крепко встряхивая его руку. – Может, еще ничего ужасного и не будет.

– Боюсь, голубь мой, боюсь, – с грустной стыдливостью ответил Лавренко. – Не хочется умирать!.. Страшно и жаль всего белого света! Ну, прощайте пока!.. А ужасное и сейчас есть, и, быть может, оно-то и есть ужаснее самой смерти.

– Что? – не поняв, спросил Кончаев.

– То, что мы, люди, располагающие огромным красивым земным шаром, прекрасным сложным умом и богатыми чувствами, должны бояться, что вот придет самый глупый и самый дрянной из нас и простой палкой расколлет нам череп... точно пустой глиняный горшок, в котором никогда ничего и не бывало... Какую же роль играет тогда и этот ум, и чувства?

– Ну, это...

– Да, смерть – это непреложный закон, но в такие моменты яснее и неотвратимее ее видишь, а главное, ужасно то, что мы сами, вместо того, чтобы напрячь все человеческие силы и умы для борьбы с нею, сами приближаем ее к себе, и в какой гнусной, отвратительно бессмысленной форме... Ну, да что уж тут... Прощайте, голубь мой!.. дай вам Бог!..

Они разошлись, и Кончаев долго слышал за собой удаляющийся шорох подошв доктора. Он снял фуражку, тряхнул по своей привычке головой, опять надел ее и моментально вспомнил о Зиночке Зек, забыл все, что чувствовал, пока говорил доктор, и пошел вдоль бульвара, с наслаждением подставляя грудь упругому морскому ветру, чуть слышно належавшему откуда-то из звездного мрака.

Две крупные неподвижные звезды низко блестели перед ним, не то близко, не то далеко.

II

В узком переулке, где жила Зиночка Зек, было так темно, что Кончаев вспомнил свое детство и свой уездный, глухой городишко. Свет падал только из окон и ложился на белую пыльную мостовую длинными яркими полосами, от которых мрак вокруг еще более чернел и сгущался.

Кончаев подошел к окнам и через узкий палисадник заглянул в комнаты. Как всегда, когда из темноты смотришь в освещенный дом, там казалось удивительно светло, нарядно по-праздничному, точно ждали гостей. В столовой, однако, никого не было, и на белой скатерти одиноко блестел потухший самовар. В другой комнате, за тюлевыми занавесами, горели свечи и расплывчато виднелись люди. Два силуэта были темны, а два белели сквозь тюль, и нельзя было узнать, кто это.

В гостиной было полутемно и красно от большого абажура, неярко багровевшего в углу, как огромное огненное насекомое, усевшееся на стену. Через открытое окно слышались звуки рояля, тихие и редкие, точно кто-то, задумавшись, трогал клавиши кончиками пальцев, и по знакомому, сладко-тревожному замиранию сердца Кончаев почувствовал, что это она – Зиночка. Он облокотился на решетку палисадника, инстинктивно принял красивую позу и, глядя в окно, тихо позвал:

– Зиночка!.. Зиночка!..

Редкие хрустальные звуки продолжали медленно сплетаться в какой-то задумчивый мотив.

– Зиночка! – громче позвал Кончаев.

Звуки оборвались. Скорее почувствовалось, чем послышалось легкое движение, и в освещенном окне, несмотря на напряженное ожидание, все-таки неожиданно обрисовался мягкий и милый силуэт девушки с невысокой грудью и покатыми полными плечами. Отчетливо было видно, какая тонкая и гибкая у нее талия и как золотятся на красном свете пушистые волосы.

Она облокотилась одним локтем на подоконник и, вся изогнувшись, выглянула в окно. Темный силуэт женской головки смотрел прямо на Кончаева, но с каким-то сладким, смешливым умилением он догадался, что она его не видит.

– Кто это? – спросил звучный и свежий голос. Кончаев улыбался ей и молчал.

– Кто там? – повторила Зиночка, но Кончаев опять промолчал. Видно было, по нерешительным движениям плеч и груди, что она начинает волноваться. Кончаеву хотелось откликнуться и засмеяться, но что-то нежно-игривое удерживало его. Он чувствовал, что она хочет уйти и не может и тоже чувствует что-то особенное. И между ними создалась какая-то молчаливая волнующая игра, от которой у него усиленно и напряженно билось сердце, а у Зиночки быстро и густо розовела нежная кожа на щеках и висках. Она улыбалась в темноту нерешительно, стыдливо и весело, а потом вдруг вся задвигалась, будто порываясь уйти от чего-то волнующего и непонятного. И в эту минуту Кончаев, точно его толкнуло, быстро сказал:

– Зиночка, это я...

Было видно, как она вздрогнула и на мгновение вся замерла.

– Выходите сюда, – тихо и осторожно говорил Кончаев из темноты, – пойдете гулять.

Зиночка помолчала, и это молчание волновало Кончаева.

– Сейчас, – наконец отозвался милый голосок, и Зиночка откинулась назад. Темный густой силуэт исчез, и опять стало видно красное пламенеющее насекомое, неподвижно сидящее в углу на стене, точно подстерегая кого-то.

Несколько минут было темно и пусто. Кончаев, прислонившись спиной к решетке, стал смотреть высоко на небо, где было так много звезд, что казалось, будто темное небо густо

запылено золотом. Далеко, далеко, еще дальше и выше звезд, воздушно и грустно пылился Млечный путь. Звезды тихо и таинственно шевелились в непостижимом холодном молчании, и, чем больше смотрел на них Кончаев, тем выше и дальше уходили они в свой холодный, темно-синий простор.

И почему-то Кончаеву стало грустно. Тихая тоска, как тонкая змейка, чуть-чуть, но зловеще шевельнулась у него в сердце. Так ясно, как никогда, представилось ему, какое страшное, неизмеримое расстояние отделяет его от этих загадочно прекрасных миров, какой ничтожно маленький он сам, посреди этой необозримой бездны, и как мала та земля, на которой, в темном и узком переулке, он стоит. Как будто от прикосновения какого-то ледяного дыхания стало холодно, жутко и тоскливо.

«Ведь это все такие же миры, такая же жизнь... – подумал Кончаев. – Может быть, где-нибудь там уже пережили все, что можно пережить в вечности, и, ни к чему не придя, жизнь замирает в неведомых нам муках. А где-нибудь она только расцветает, и не так, как у нас, а вся под солнцем, в цветах и радостях... И никогда, никогда я не узнаю, что там такое. Когда-нибудь земля умрет, а это все останется, и такое же холодное, необъятное будет небо, так же будет пылиться Млечный путь и шевелиться звезды. Что же значит вся моя жизнь, наша революция?.. Где она, попросту говоря?.. Стоит ли тогда и...»

Странно тускло вспомнились ему события сегодняшнего дня: Лавренко, толстый ленивый человек, железный короб в далеком море, плавающий, как будто это не щепка, а что-то большое и даже вечное, завтрашний день... Вдруг злоба, бессознательная, разгорающаяся с мгновенной быстротой, как молния, выйдя откуда-то из тайников сжавшегося сердца, ударила ему в голову. Ей не было выхода и не было предмета, все было величаво пусто и недостижимо холодно. Мучительная пустота, как белый едкий туман, наполнила голову, и Кончаев бессильно и болезненно сжал кулаки. Но в эту минуту где-то робко щелкнула калитка, и что-то заблестело во мраке, как легкое облачко, колеблемое ночным ветром.

И, забывая все свои думы, Кончаев инстинктивно сдвинул фуражку еще дальше на затылок и с радостью, ощущая красоту и мужественную силу своих движений, пошел навстречу Зиночке. Она подала ему свою теплую маленькую ладонь и снизу смотрела на него своим нежным, молодым, как весна, личиком, с большими, как будто радостно удивленными глазами.

– Здравствуйте, – сказал Кончаев всей грудью. – Куда же мы пойдем?.. На берег?.. Через сад?..

Зиночка вскинула на него глазами.

– Ну, через сад...

Молча вышли они из переуллка на опустевший бульвар, прошли его медленно, оба невольно глядя на далекие красные и синие огоньки, и вошли в темную аллею сада, тихо заскрипевшую под их ногами смутно белеющим в темноте гравием. Полная тишина охватила их со всех сторон, точно здесь было ее тихое царство. Вокруг были темные кусты и деревья, черный мрак стоял за ними, то сгущаясь в кустах, то расплываясь на полянках, а впереди, над самой землей, странно, как во сне, низко блестела яркая звезда. И казалось, что она блестит в конце аллеи и они идут прямо к ней.

Уже давно их прогулки были так молчаливы, напряженны и странны, как недоговоренное слово, потому что те горячие и яркие мысли, которые торопились они высказать друг другу раньше, вдруг как-то иссякли, потускнели и стали лишними, как покровы даже самой легкой материи между двумя горячими, ищущими ласк и объятий молодыми телами. Что-то ждало в горячей истоме, стремилось друг к другу и жгло, но молодость и чистота стояли между ними прозрачным холодом, и нельзя было ни сказать того, ни прикоснуться друг к другу. Это было бы страшно, и казалось, что тогда должно случиться что-то роковое, желанное, но невозможное., о чем даже думать нельзя.

Так шли они и теперь, и мрак, теплый, томительный и пахучий, стерег их горящие желанием ласки лица от взглядов друг друга. Было тихо, и осторожно скрипел песок под ногами.

И странно было, что не он, сильный и смелый, а она, маленькая и нежная, первая нашла слова.

– Ну, что же будет завтра? – чуть слышно, точно боясь чего-то, вздрагивающим голосом проговорила Зиночка, не спуская зачарованных глаз с блестящей сказочной звезды, повисшей над черной землею.

Кончаев стал говорить. Голос его был неуверен, и он сам видел, что говорит совсем не то, что хотелось бы ей рассказать и что мучило и волновало его сегодня целый день. Как иногда в блестящей, брызгающей разноцветными звуками музыке все время звучит одна странная, как будто тайная, однообразная и волнующая нота, которую и слышишь, и не слышишь, – так сквозь те слова, которыми Кончаев пылко и громко старался описать прошедший день, слышалось все время что-то другое, и он сам, и Зиночка бессознательно прислушивались к этому другому.

– Трудно, конечно, предугадать, что будет... Весьма возможно, что часть войск перейдет на нашу сторону, потому что это уже не рабочие, в которых так легко можно видеть чужих, врагов, а свой брат солдат... Интересы общие...

«Милая, милая, милая!..» – тихо и нежно пела тайная нота в звуках его яркого молодого голоса.

– Но стрелять все-таки будут? – спрашивала Зиночка, и бедная головка ее закружилась.

– Милый! А как же... я не хочу, не могу! – едва не крикнула она, едва не схватила его своими гибкими молодыми руками, чтобы прижать к груди его голову, не дать, защитить своим телом.

– Да, конечно... – ответил Кончаев. – Без этого у нас нельзя.

– Да? – вздрогнувшим голосом переспросила во мраке Зиночка, и Кончаев понял, «чего» она боится, но от этого сознания стало так хорошо, что он засмеялся.

– Сядемте, – прошептала Зиночка, почему-то смущенно радуясь и пугаясь его смеха.

И вдруг всем телом почувствовала, что «этого» не может быть, что он не может исчезнуть, уйти из ее жизни, в которой он все и она вся для него.

Они сели в глубокой и теплой тени и уже не видели даже смутных силуэтов друг друга. Вокруг были мрак и теплый влажный запах лесной глубины, точно они сидели не в городском саду, а в самой чаще глубокого темного леса, где на тысячу верст вокруг были только тьма, звезды, душная теплота, томящий запах весны и два бьющиеся так близко друг от друга молодые горячие сердца.

Так хотелось найти в темноте эту милую, теплую талию, ощутить сквозь жесткую ткань строгого платья ее мягкость и безвольность, сдавить в бесконечном порыве радости, счастья и страсти, уничтожить, замучить, а потом посадить ее, маленькую, слабую, на колени и баюкать в бесконечной ласке и нежности, так, чтобы теплые слезы любви и восторга сами выступили на глазах. И по странному трепету, по той непонятной волнующей связи, которая, как струна, напрягалась между ними, Кончаев чувствовал, что она понимает его, ждет, боится и томится еще непонятным ей желанием, как цветок под солнцем.

Но что-то по-прежнему удерживало их, лживо шевелило губами и говорило о далеком, о другом.

– Завтра я побываю на броненосце, но главным образом должен быть в порту и стараться помешать разгрому. Если они перепьются, все пропало... будет бессмысленная бойня, и только.

– Зиночка, а вы будете плакать, если меня завтра убьют? – весело и лукаво спросил он.

Что-то вздрогнуло возле него, и неожиданно руку его обожгло прикосновение ее нежных и робких пальцев. «Милый, зачем? Это жестоко!» – с укором сказала это прикосновение.

Голос Кончаева оборвался неожиданно и бессильно. В первый раз он вдруг почувствовал, что надо взять эту руку и поцеловать и что это можно и будет хорошо. Он осторожно-осторожно поднял к себе горячую мягкую ладонь со свежим, ударившим ему в голову милым запахом и так же осторожно поцеловал ее, раз и другой. Рука тихо вздрагивала после каждого поцелуя, но лежала в его руке безвольно, покорная, слабая.

Настала напряженная тишина. Что-то неудержимо росло, неодолимо тянуло друг к другу, и казалось, что уже нельзя больше сопротивляться. Странная слабость разливалась по всему телу, голова тихо кружилась, мрак по сторонам сгущался плотной, непроницаемой стеной, и все исчезало, кроме чуть белеющих в темноте странных лиц с полузакрытыми, загадочно поблескивающими глазами.

Тишина стояла вокруг, отделяя их от всего мира, и только звезды, молчаливые и яркие, блестя, проникали сквозь мрак и молчание и светили им в лица, слабо озаряя их сказочным неверным светом.

– Ну, пора домой! – слабо сказал точно откуда-то издали вздрагивающий голосок Зиначки.

И с трудом, преодолевая сладкий истомный сон, мучая себя и его, точно отнимая что-то у своей жизни, она медленно встала, нерешительная и колеблющаяся, как белая былинка во мраке.

Кончаев тоже встал и провел рукой по волосам и глазам.

– Ах, Зиначка, Зиначка! – тихо, почти одними губами проговорил он, не в силах даже для себя в словах выразить то, что переживали его молодое сильное тело и молодая горячая душа.

Но она уже стояла посреди дорожки, и ее смутный белеющий силуэт как будто расплывался, готовый исчезнуть во мраке.

– Идемте, – повторила она негромко, – нас ждать будут... И, колеблясь в темноте, пошла от него.

Но вместо того, чтобы идти из сада, Зиначка пошла вниз по аллее, идущей к самому морю; Кончаев пошел за ней.

С ветром и влагой в упругом воздухе открылась перед ними темная ширина. Волн не было видно, и только иногда то тут, то там вдоль темной линии мола смутно появлялись и исчезали белеющие полосы, точно кто-то белый быстро выглядывал и мгновенно исчезал в темной колышущейся массе, отливающей мрачным черным блеском.

Непрестанный шум стоял в безграничном просторе. Он рождался где-то далеко, на неведомых горизонтах и, грозно нарастая, бежал прямо на берег. Что-то бухало на деревянный мол, как в пустой барабан, и потом бессильно падало, мокро плеская по камням. А сзади опять рос и бежал на берег новый нарастающий ропот.

Зиначка долго стояла на самом краю, одна, тоненькая, в развеваемом от ветра белом платье. Вокруг нее было широко, пусто и ветрено, все наполнялось гулом, звоном и плеском непрерывного могучего движения, и казалось в темноте, что она отделяется от берега и вот-вот сейчас, как легкая вольная птица, полетит быстро и низко над самой черной, блестящей, движущейся водой, веющей глубиной и страхом, вдаль, к неведомым широким горизонтам.

Странные думы овладевали ею. Что-то чистое и милое, такое нежное, такое славное просилось на волю из ее молодого, свежего тела, с широкими, упругими бедрами, невысокой сильной грудью, на которой, волнуяще легко, точно стремясь улететь и бесстыдно обнажить ее, трепетало легкое белое платье. В душе была настойчивая жажда чего-то, чего она еще не знала и не могла понять: и радость грустная, и грусть радостная, и плакать хотелось, и смеяться.

А гул моря, все так же нарастая, бежал на берег, и грудь невольно выгибалась навстречу упругому влажному ветру.

Она не видела Кончаева. Перед нею были только море, мрак и чистые звезды, но всем существом своим она чувствовала его где-то тут, близко, милого, сильного, и хотелось ей оглянуться и почему-то страшно было увидеть его.

Далеко, далеко, точно с края света, через верхушки невидимых волн, то показывались, то пропадали предостерегающие огни.

III

Лавренко грузно и медленно, тяжело понутив голову, дошел до конца бульвара. На углу он нанял извозчика и с ласковой иронией сказал ему:

– А шо, гражданин, лошадь твоя скорее бегать может? Извозчик молча повел головой, так что нельзя было понять, уразумел ли он, доволен или недоволен шуткой, и задержал вожжами.

Одну за другой проезжали они темные улицы. Было уже поздно и пусто. Глядя на огромные темные дома, в которых как-то не представлялась жизнь, Лавренко думал о том, что многих из людей, которые теперь крепко и спокойно спят здоровым сладким сном, завтра уже не будет. И люди эти не знают своей судьбы, и это ужасно.

– Разве они спали бы, если бы знали, что через несколько часов... что осталось всего несколько часов жизни... что надо дорожить каждым мгновением, смотреть, запомнить, изжить эту жизнь, которая так мучительно дорога и которой осталось так мало...

Ему показалось, что было бы лучше, если бы знать. Неожидаемость и неизвестность пугали, как черная пустота.

Но тут Лавренко отчетливо, но не умом, а как-то одними нервами, мгновенно обострившимися до боли, представил себе весь тот кошмарный ужас, те зловещие предсмертные судороги жизни – крики и слезы отчаяния, – которые наполнили бы эти темные молчаливые дома и нелепо-ужасно всколыхнули бы тьму и тишину ночи, если бы все эти приговоренные вдруг узнали, как близка от них смерть и как мало, как бессмысленно мало осталось жить.

Мелкая неприятная дрожь пробежала по его согнутой толстой и рыхлой спине.

– Бог с ним... уж лучше не знать! – мысленно махнул рукой Лавренко и, стараясь не думать и скрыть от самого себя холодное, зловещее предчувствие, стал вызывать в памяти всевозможные, самые пустячные и пестрые впечатления дня. Сначала это было трудно, и в то самое время, когда он думал, что думает о другом, вдруг мучительно оказывалось, что где-то еще глубже и в самых тайных изгибах мозга остро и болезненно шевелится это ползучее, липкое и всеобволакивающее предчувствие ужаса. Но потом мысли устали и сами, почти незаметно, ушли в сторону. Вспомнился ему Кончаев, и его юное, бесшабашно смелое лицо, с фуражкой на затылке и с мягкими волосами, легко закрученными на висках, ясно встало перед ним в сумраке тихой ночи.

«К Зиночке пошел, конечно!» – подумал он и, закрыв глаза, вызвал перед собою милое личико с розовыми пушистыми щеками, с двумя недлинными толстыми косами на покатых плечах молодой-молодой девушки.

Нежная и тайная грусть, которая всегда овладевала им при виде первой, нежной и красивой женской молодости, тихо шевельнулась в нем.

– Ах, Зиночка, Зиночка! – медленно вздохнул он и, весь напрягаясь во внезапном приливе трогательной нежности и тоскливой ласки, подумал: «Милая „Маленькая молодость“, кто знает, где буду я, когда ты расцветешь?..»

Что-то теплое и мокрое выступило из-под его закрытых век. Лавренко стыдливо крикнул, открыл глаза, поправился на сиденье и снова стал смотреть на слепые окна домов, неясно мерещившихся во тьме.

Почему-то перед ним встала вся его собственная жизнь: больницы, сотни страдающих, отвратительно и гнусно, на все манеры, разлагающихся людей, тайная, стыдливая любовь к Зиночке, бильярд, жадные лица шулеров, стук шаров, горький вкус пива и кисловатый затхлый запах в его холостой квартире, с размокшими кучами пепла на окнах. Стало чего-то обидно, чего-то жаль до слез.

– Барин! – вдруг позвал извозчик с козел.

Лавренко медленно посмотрел на него, с трудом оторвавшись от своих мыслей.

С козел, через плечо, смотрело на него, смутно различаемое в темноте, унылое и понурое, мужицкое лицо.

– А, шо тебе? – вяло спросил Лавренко.

– Правда, говорят, завтра по городу палить с пушек будут?

– Должно, будут...

Извозчик помолчал, и казалось, что он ждет еще чего-то или к чему-то прислушивается.

На улицах были пустота и молчание, и только одиноко и чересчур громко гремели колеса пролетки.

– Н-ну, дела! – пробормотал извозчик, не оборачиваясь. Лавренко долго молча смотрел в его присадковатую, согнутую спину, зыбко маячившую перед глазами во мраке.

– Да, голубь, дела! – не то усмехнувшись, не то вздохнув, проговорил он. – А ты знаешь, из-за чего все это?

– А кто их знат! – неопределенно ответил извозчик, опять оборачиваясь. – Говорят, матросы да забастовщики народ мутят...

– Мутят? Эх, ты... – с иронией передразнил Лавренко.

– А, конечно, мутят... Жили бы тихо, а то на... Невесть чего захотели... Этак, к примеру, и я скажу: не желаю... да и все!..

Извозчик усмехнулся, и по голосу было слышно, что он усмехнулся презрительно и недоуменно.

– Лучшей жизни хотят, – возразил Лавренко, – и ты можешь хотеть... Разве ты сам своей жизнью доволен?

– Где же доволен... Жить нашему брату вовсе трудно... Теперь, возьмем, скажем...

– Ну, вот видишь, – перебил Лавренко, – трудно жить.

– Что ж, что трудно... Жизнь не малина, трудно-то трудно, а жить можно... что ж...

– Где же можно? – с сердитой грустью возразил Лавренко. – День и ночь на козлах сидишь... вон как тебя согнуло, а человек не старый... Кроме лошадиного хвоста, холода да голода, ничего не видишь, всякий тобой помыкает, в бане, чай, побывать толком некогда, вши заели, а ты говоришь – жить можно!.. Разве это жизнь?

Извозчик, обернувшись, посмотрел на него с непонятным выражением какой-то растерянности и испуга.

– Оно, конечно, что жизнь, точно что... оно, если рассудить, так жизнь наша, барин, горькая жизнь, а только, что ж... тяжело не тяжело, а жить надо...

Они замолчали. Опять только мелко и одиноко постукивали колеса да скрипела калитка. Свернули в переулок, проехали мимо церкви, смутно белевшей за черными деревьями. Извозчик и доктор Лавренко думали каждый о своем, и было много безнадёжного, унылого в этих двух согнутых, молчаливых, чуждых друг другу фигурах и тощей, разбитой лошаденке, терпеливо и кротко выбивавшейся из сил.

Уже у самого дома доктора Зарницкого извозчик вдруг вздохнул и тихо пробормотал:

– Приходится, барин, жить!.. Лавренко ничего не ответил.

У темного подъезда доктор тяжело слез с дрожек и расплатился. На мгновение они посмотрели друг другу в глаза. Лавренко что-то хотел сказать, но промолчал и пошел к подъезду. Извозчик тронул лошадь, и пролетка медленно поплелась вдоль тротуара, точно поползло одиноко в ночи какое-то искалеченное, унылое насекомое.

IV

На площадке был пустой и холодный мрак, и тоскливый, замирающий отзвук колокольчика где-то за запертой молчаливой дверью наводил жуткую тоску. Не отворяли долго, и все было тихо, как в могиле, и это сравнение пришло в голову Лавренко и из самой глубины его души подняло опять тоскливое и зловещее чувство. Мрак стал жутким, и начало чудиться, что со всех сторон в нем неслышимо подползает что-то бесформенное и ужасное.

Наконец, за дверью послышался шорох, и женский высокий голос спросил:

– Кто там?

Голос звучал как будто издалека, и в его напряженном звуке чувствовалась молодая женщина, боязливая и недоверчивая.

Лавренко поторопился ответить, нарочно придавая словам преувеличенно дружелюбное и успокоительное выражение. Тогда дверь медленно отворилась, и полоса света упала ему на лицо. Молоденькая, хорошенькая горничная застенчиво улыбнулась ему и, наивно-кокетливо прижимаясь к косяку, пропустила доктора в переднюю. На пороге в следующую комнату стоял черный силуэт самого Зарницкого и все еще тревожно, слегка вытянув шею, всматривался в темноту.

– Владимир Петрович, я к вам по делу, – заговорил Лавренко, вступая в комнату и снимая пальто.

– Да, да... я уже знаю... – торопливо пробормотал Зарницкий, и по его чересчур красивому и здоровому лицу мгновенно мелькнуло что-то странное и даже как будто враждебное. И хотя он сейчас же отвернулся, но даже в его крупном, с короткими крутыми завитками черных волос, холемом затылке почувствовалось то же выражение. И с той спокойной, тонкой наблюдательностью, которою всегда отличался Лавренко, доктор заметил и понял это выражение.

Они прошли в кабинет Зарницкого, где от яркого света по лощеной коже тяжелой мебели, по золоченым корешкам книг и зеркальным стеклам шкафа с инструментами искрились тысячи холодных бликов.

Навстречу им поднялся высокий, как жердь, унылого вида студент.

– А, Сливин! – ласково-дружелюбным тоном негромко воскликнул Лавренко.

Студент улыбался ему, но и улыбка у него была какая-то длинная, вялая и унылая.

Лавренко сел у стола, сел и Сливин, острым углом поставив перед собой худые колени, а Зарницкий стал ходить по комнате, о чем-то озабоченно думая и тяжело ступая по ковру машинально размеренными шагами. Все долго молчали.

– Ну, вот, голубь мой, дождались мы и революции! – с задумчиво-ласковой иронией наконец проговорил Лавренко, взглянув на уныло сидевшего Сливина.

И точно это слово было тем ключом, которым открывалась душа у понурого студента, Сливин вдруг оживился. Его белобрысое, худое и длинное, совершенно некрасивое лицо чахоточного порозовело, глаза заблестели, и все лицо стало таким молодым и милым, что на него и жалко, и хорошо было смотреть.

– Это еще не революция, а только предтеча революции, доктор! – надтреснутым высоким басом ответил он, – но во всяком случае это такой удар, который двинет жизнь сразу на тысячу верст вперед!

– Да, конечно!... – любуясь им, согласился Лавренко, хотя вовсе не потому, что был действительно с ним согласен.

Зарницкий остановился у камина, постоял немного, подумал и заложил руки в карманы, покачиваясь с носков на пятки и обратно, и небрежно-притворно, глядя в потолок, спросил:

– А как вы думаете, чем все это кончится?..

– Бойней, – коротко пожал плечом Лавренко и потерял свои пухлые, как у булочника, пальцы, точно ему вдруг стало холодно.

Это было очень простое и короткое слово, и Лавренко произнес его как будто довольно спокойно, но оно кровавым призраком встало перед каждым из них и мгновенным тяжелым сжатием отметилось в сердцах. Зарницкий вдруг перестал качаться и странно поперхнулся. Сливин вновь осунулся и поник.

Но каждому из них казалось, что страшно только ему одному, а другим нет. И каждому стало неловко перед другими и стыдно перед самим собой.

«Как они могут так спокойно», – с наивным восхищением подумал Сливин и с горькой тоской почувствовал себя маленьким, ничтожным и трусливым до гадости. И, страдая до слез и убеждая себя, что он должен быть искренним и сказать то, что думает и чувствует, он пробормотал, заикаясь и бестолково двигая локтями и ногами:

– А в конце концов, все это ужасно!.. и... вообще...

– Что же тут ужасного? – неожиданно для самого себя, повинувшись безотчетному желанию замаскировать свой страх и тому стремлению поражать, которое всегда было в нем, вместе с тайной сознаваемой уверенностью, что он действительно лучше, смелее, решительнее, непреклоннее, умнее и определеннее всех, сказал Зарницкий. И мгновенно его самоуверенность вернулась к нему, и он успокоился.

– Борьба так борьба... Кому-нибудь надо умирать, и, право, по-моему, лучше умереть сразу и в борьбе за жизнь, чем от какой-нибудь болезни сгнить в постели. В сущности говоря, – продолжал он, оживляясь от удовольствия, что именно ему пришла в голову удачная мысль, – в сущности говоря, вопрос о жертвах был бы тогда ужасен, если бы люди вообще были вечными и только одни эти жертвы погибали... тогда... да... Но так как все люди в конце концов умирают, то не все ли равно, раньше или позже?.. Это сантиментальное сожаление о жертвах похоже на то, как если бы приговорили к смерти кучу народу... всех к посажению на кол, а двух-трех к расстрелянию... и если бы все посаженные на кол стали оплакивать не себя, а тех, которых расстреляют. И это при полной и неопровержимой уверенности в том, что сию секунду их самих непременно посадят на кол...

«Да, да... это совершенно верно... – с какою-то облегчающей радостью думал Сливин. Как это, в конце концов, просто и... вовсе не страшно... Ну, не все ли равно, в самом деле, убьют ли меня завтра или я умру потом от чахотки?.. Да, это решительно все равно».

И воспоминание о том, что у него чахотка, на этот раз было ему не мучительно, как всегда, а радостно, как будто этим снималась с него ужасная тяжесть.

– Хотя я... – все-таки нерешительно, перебивая сам себя под давлением какого-то странного чувства неловкости, оставшегося где-то очень глубоко, под легкими добрыми мыслями, протянул он, – тут ведь и... того, страдания ужасны... и неожиданность тоже... Хотя-я...

– О, милый мой юноша! – снисходительно и уже совсем самоуверенно засмеялся Зарницкий. – Хуже страданий, как от воспаления седалищного нерва или рака, никакой пулей не причинишь... А что касается неожиданности, то смерть всегда неожиданность... даже после соборования, – прибавил он и довольно засмеялся.

Сливин смотрел на него с завистью и изо всей силы старался впитать в себя эти мысли и проникнуться ими, чтобы так же легко и смело смотреть на жизнь и смерть. Сознание своей трусости и ничтожности давило его и терзало еще больше, чем страх.

– Все это так, голубь мой, – мягко отозвался Лавренко, глядя на ровное широкое сукно письменного стола, напоминающего ему бильярд, – все это та-ак, да... да дело-то в том, что вы признаете смерть от болезней уж как будто делом естественным, а это что ж... Смерть противна человеку вообще, отчего бы она ни приключилась... Тут главным образом ужасно

не то, что будут жертвы, а то, что эти жертвы будут принесены самими людьми. Всем смерть ужасна, всем хочется жить вечно, люди борются за эликсир бессмертия тысячи веков, уничтожают болезни, создают гигиену, строят больницы, употребляют страшные и самоотверженные усилия в поисках микроорганизмов, вредных для человеческой жизни, а тут же, рядом с больницами и университетами, находятся идиоты, которые под прикрытием пустых и явно фальшивых лозунгов калечат, убивают, истязают ту самую жизнь, за которую борется так или иначе всякий человек, и они же сами... Вот это-то и ужасно, голубь мой!.. Ужас перед насильственной смертью – это ужас смерти вообще, но отягченный еще возмущением, болью омерзения и самого мучительного недоумения: да зачем же?.. да как же не понимать такой простой истины?..

Зарницкий, еще не дослушав до конца, подыскал ответ, и, хотя, по дальнейшему ходу слов Лавренко, ответ этот уже не совсем годился, он возразил, слегка волнуясь:

– Вы говорите, смерть противна вообще... а террористы, а эти улыбки под виселицами?.. а крестная смерть Христа, например?.. А самоубийцы?..

– Я думаю, голубь мой! – раздумчиво ответил Лавренко, погружаясь назад в кресло всем своим толстым, пухлым телом. – Можно улыбаться и смерти, но только тогда, когда смерть есть акт своей собственной воли... Смерть террориста есть высшее проявление его собственного «я»... Человек, идущий на террор, ставит себе задачей мужественную гибель... А, например, смерть Христа была не столько смертью, сколько высшим моментом его творчества, венцом его жизни... Вообразите, как мог бы жить дальше Христос, если бы вместо того, чтобы умереть на кресте, он удрал бы! Он остался бы жить, т. е. тело бы его не умерло и прожило бы еще сколько-нибудь лет... Но себя, Христа, свою личность, он убил бы этим и обратил в гроб повапленный... Разумеется, в такие моменты у них жизненная сила достигает наивысшего напряжения, наиярчайшего проявления, и самый страх смерти совершенно ступшевывается перед восторгом победы над собой и другими...

– Другими? – машинально спросил Сливин.

– Конечно, голубь мой, и над другими: люди, которые приговаривают их к смертной казни, прежде всего имеют идеей месть и устрашение, а потому смерть бесстрашная есть именно доказательство несостоятельности этой идеи... победа.

Лавренко помолчал и вдруг, грустно засмеявшись, прибавил:

– Знаете, голубь мой, у человека есть одна только сила, которую никто и ничто не может победить... Все можно победить, можно убить жизнь, можно пресечь все... но есть одна сила, которая ничем не уничтожается и остается как яд, который ничем уже нельзя вытравить...

– Какая же?

– Ирония... И знаете, самым непобедимым человеком в мире мне представляется тот анекдотический турок, который, будучи посажен на кол, сказал: «Недурно для начала!..»

Сливин прыснул, но сразу умолк и задумался.

– А это, пожалуй, правда! – сказал он вдруг с недоумением и, даже слегка открыв рот, посмотрел на Лавренко.

Все задумались. Зарницкий медленно ходил по комнате, напирая на носки сапог и глядя под ноги; Сливин сгорбился и засунул руки между коленями, а Лавренко смотрел на стол и машинально рассчитывал удар чернильницей пепельницу направо в угол.

– Сливин, вы хотите ужинать? – спросил Зарницкий, посмотрев на часы.

Сливин задвигался во все стороны, беспомощно шевеля руками и подымая брови.

– Н-нет... Я, собственно, есть не хочу!.. Я уже ужинал!..

– Ну, ничего... выпьем водки и закусим, а?..

– Да нет, ей-богу, я не хочу... Хотя-я...

Он виновато улыбнулся и поднял плечи до самых ушей, слегка разведя руками. Зарницкий позвонил.

Молоденькая горничная, чистенькая и красивая, того особого, как будто только что вымытого с мылом, типа, который вырабатывается у горничных, живущих у очень здоровых холостых мужчин ради правильности и гигиеничности физиологических отправок, накрыла на стол, зажгла яркую лампу в столовой, и было как-то особенно приятно сесть за чистый, блестящий графинчиками, тарелочками и белоснежной скатертью стол.

– Ну, господа, – с грустной шуткой сказал Лавренко, наливая и подымая рюмочки, – может быть, в последний раз... За победу!

– За победу! – оживляясь, крикнул Сливин и так хлопнул рюмку в глотку, что у него выступили слезы.

Но он сейчас же вспомнил, что после высказанной им трусости и дряблости не очень-то кстати пить за победу, покраснел и уткнулся в тарелку. Все ели молча. Лавренко и Зарницкий совсем мало, и по лицу Зарницкого опять заходили мимолетные тени. Один Сливин, сам смущаясь своего всегдашнего волчьего аппетита, съел весь ужин и весь черный хлеб, какой был.

– Ну, – сказал Лавренко, уже уходя, – итак, до завтра... Плохо нам будет!

Зарницкий изменился в своем красивом холеном лице.

– Чего, собственно, вы боитесь? Ведь не посмеют же они стрелять по красному кресту?

Лавренко внимательно посмотрел ему в лицо, угадывая его мысли и чувствуя к этому здоровому, упитанному человеку презрительную враждебность.

– И по кресту будут стрелять. А главное, когда нас побьют, а побьют нас непременно, многих из нас... А впрочем, не знаю!

Он холодно пожал руку Зарницкому и вышел на темную лестницу. Сверху им светила горничная, перевесившись через перила, и, как всегда, Лавренко посмотрел на ее чистенькую пикантную фигурку, выпукло освещенную лампой. И ему стало жаль ее и противно.

На улицах была пустота и сероватый мрак, указывающий на близость рассвета.

Шаги их чересчур громко отдавались в этой пустоте, и Лавренко озабоченно сказал:

– Будет очень скверно, если нас заберет патруль еще до завтра!

«Тогда мы будем в безопасности!» – мелькнуло в голове у Сливина, но он тотчас же поймал себя на этой мысли и мучительно покраснел.

– Ах, Анатолий Филиппович, – с болезненным раскаянием выговорил он, – если бы вы знали, какой я трус!

– Я тоже трус, – ласково ответил Лавренко и махнул рукой. – Не в том дело, голубь мой!..

– А не поиграть ли нам в последний раз на бильярде? Тут я знаю один извозчий трактирчик такой... – спросил вдруг Лавренко, и ему самому было стыдно, что он говорит о бильярде. Ему всегда было неловко приглашать играть, потому что казалось, будто он уже всем решительно надоел своим вечным бильярдом и что только из деликатности соглашались с ним играть.

– Поздно уже... – с искренним сожалением, что не может удовлетворить желания Лавренко, к которому чувствовал нежное уважение, ответил Сливин.

– Да!.. Поздно!.. – согласился Лавренко, с трудом разобрав на часах два с четвертью. – Ну, до свидания, голубь мой!.. Завтра, может быть, не увидимся?.. Вы где будете?..

– Я на заводе Костюковского. Прощайте, голубчик!..

Они крепко, хотя немного стесняясь, поцеловались, и оба почувствовали теплую, грустную нежность друг к другу.

– Ну, прощайте, голубь, не поминайте лихом, коли что!..

Высокая фигура Сливина, зыбко маяча во мраке, повернула за угол, и опять Лавренко остался один. Ему вдруг до боли захотелось, чтобы было куда-нибудь пойти, встретиться с дорогим человеком, который пожалел бы его и боялся бы за него. Он вздохнул и медленно пошел по тротуару, грузно шагая и постукивая тростью.

Он вспомнил Зарницкого и стал думать о нем:

«Ведь вот куча мускулов и мяса, вся жизнь его в том, что эта здоровая, красивая куча мяса ест, пьет, спит и совокупляется с женщинами... Такая физиологическая жизнь продолжится и за гробом, и после смерти эта куча мяса не исчезнет без следа, а будет разлагаться, претворяться, потом опять есть, опыляться и так без конца... Казалось бы! А между тем он боится смерти, может быть, во сто раз больше, чем те, которые живут самой тонкой духовной жизнью, которой действительно конец за гробом... Да... Ну, так что же?»

Лавренко запутался, тоскливо махнул рукой и пошел дальше...

Не доходя до перекрестка, он вдруг остановился и прижался под воротами.

Показались из-за угла, перешли улицу и вновь скрылись за углом четыре черные одинаковые фигуры, и, когда проходили под слабым светом подворотного фонарика, один за другим, над ними тускло блеснули четыре штыка. В груди у Лавренко все сжалось и притаилось.

В гулком ночном мраке звонкие шаги вооруженных людей отчетливо проговорили о близости смерти и смолкли в безвестном отдалении.

V

Проводив гостей, Зарницкий вернулся в кабинет и опять стал ходить взад и вперед, заложив руки за спину и глядя на носки своих светло вычищенных сапог. Он был так же массивен, красив и изящен, как всегда, но какая-то неуловимая растерянность вдруг появилась на лице, в беспокойном выражении глаз и в чуть заметном дрожании пальцев.

Пока вокруг были другие люди, перед которыми для Зарницкого было немыслимо не выказывать себя самым умным, самым храбрым, самым честным и самым твердым человеком, ему было легко не думать. Но когда он остался наедине с самим собою, словно какой-то флер спал с его души, и голо и коротко встал перед ним беспощадный настойчивый вопрос, которого он никогда не подозревал и который теперь вдруг оказался неотложным и неотвратимым.

Всю свою жизнь Зарницкий был непоколебимо убежден, что он самый красивый, самый блестящий и смелый человек в свете. То, что его любили женщины и с восторгом отдавались на забаву его холеному, сильному и здоровому телу, то, что он был ловким и действительно прекрасным хирургом, то, что он был революционером и шесть месяцев просидел в одиночке, откуда вышел таким непреклонно убежденным, каким и вошел, приучило его верить в себя и никогда не задавать вопроса, действительно ли он так прекрасен и силен.

Он всегда верил, что если будет революция, то он станет во главе ее. С его красноречием, храбростью и убежденностью он не может не выдвинуться в первые ряды и не стать, как ему рисовалось, членом конвента, народным трибуном, вождем. И мысль об этом опьяняла его романтическим восторгом, и даже смерть на гильотине казалась ему только последним мрачно красивым аккордом.

Еще когда он был студентом, ему как-то пришлось в обществе красивых, чуть не поголовно влюбленных в него девушек сказать:

– Лучше тридцать лет жить, да пить живую кровь, чем жить триста лет, да питаться мертвечиной.

И он сказал это с искренним убеждением и часто повторял потом все с таким же убеждением.

И вдруг оказалось, что мысль о том, что его могут завтра убить, леденит ему кровь, и совершенно определенно, ясно и неотвратимо он понял, что боится смерти и не пойдет на нее.

«Так, значит, – я трус?..» – мучительно краснея и как будто стараясь, чтобы мысль эту не слышал даже он сам, растерянno подумал Зарницкий.

«Да, трус!» – отвечало что-то в глубине его массивного красивого тела, сжавшегося безвольно и пугливо. И весь многолетний мираж красоты, смелости и обаяния вдруг слетел, и Зарницкому показалось, что он гол, слаб и растерян, как гаденький, подленький зверек, с которого содрали блестящую шкурку.

С беспощадной иронией, вдруг непонятно возникшей из неуловимых сплетений мысли, он вспомнил шуточный афоризм одного приятеля:

«Познай самого себя... и познав, не впадай в уныние».

Эта внезапная, противувольная и непонятная насмешка над самим собою была так мучительна, что у него потемнело в глазах, и весь кабинет с его внушительной строгой мебелью тихо поплыл кругом.

«Не надо думать об этом!.. – как будто прося кого-то жестокого и безжалостного, подумал Зарницкий. – Это так... нервы расходились... Надо лечь спать... а там посмотрим!»

Но вместо того он опять заходил по кабинету, и все движения его стали уже растерянными, короткими, порывистыми, и, чувствуя это, он начал невыносимо страдать. Можно

было думать, можно было забыть или помнить, но завтрашний день, а с ним смерть придут, и нельзя будет не пережить их.

– Ах, если бы проснуться и увидеть, что все уже прошло... Будет же когда-нибудь все это прошлым...

Мысль о том, чтобы стряпаться, увернуться от опасности и что это очень легко и можно устроить так, что очень немногие, а быть может, и никто не догадается, уже была у него в мозгу, тонкая, как уж, юркая и трусливая, но он старался думать, что даже мысли об этой мысли у него нет, потому что у него ее не может быть.

«Не всех же убьют», – думал он словами, логически и ясно, и как бы то ни было, а отступления не может быть и будь что будет.

Но тут же за этими словами, как будто гораздо глубже их, неуловимая, бессловная мысль, как мышь в мышеловке, быстро и все очевиднее и яснее для него описывала круги, отыскивая и изобретая все возможные способы обмана и увертки.

И окончательно уже видя, что все это так и есть и что он не пойдет завтра никуда, Зарницкий все-таки сам не знал, пойдет или не пойдет, и был уверен, что такой человек не может даже думать, чтобы не пойти. Было похоже на то, будто его мозг утратил связь и цельность, и каждая частица его думает свое. И путаница эта отдаленно напомнила о сумасшествии.

А в груди было простое чувство искреннего стыда и грусти о безвозвратно утраченной отныне вере в свою красоту и превосходство над всеми людьми.

Зарниickому захотелось плакать, просить у кого-то снисхождения и жаловаться, как будто его обижают незаслуженно, и бить себя головой о стену с презрением, плевками и пощечинами, как последнюю тварь. Он представил себе свою красивую фигуру с избитыми, заплеванными холеными щеками, и это даже доставило ему мучительное наслаждение.

Зарницкий остановился посреди кабинета и широко открытыми воспаленными глазами уставился на стену, ничего не видя перед собой.

«Но ведь разве можно будет жить после этого?» – с отчаянием и ужасом спросил он себя.

«Нельзя!» – ответила первая мысль, и стало очевидно, что после этого никогда нельзя будет чувствовать себя таким красивым и счастливым, нельзя будет заглянуть в лицо тысячам людей.

«Можно будет уехать куда-нибудь подальше, где никто не знает!» – одновременно под этой мыслью проскользнула другая, и опять было очевидно и то, что нельзя уехать, и то, что он уедет, и что нельзя жить, и что все-таки он переживет.

Холодный пот выступил на лбу Зарницкого, и лицо его исказилось.

«Да, лучше не думать!.. – опять сказал он себе и, взяв лампу, пошел в темную спальню. Тысячи мыслей со всех сторон набежали на него, как тот мрак, который бежал за лампой, но, упрямо стиснув зубы и притворяясь, что всецело поглощен сниманием сапог и брюк, он каждую упрямо отражал и затемнял. – Я вовсе не думаю об этом, не думаю, вот и не думаю вовсе... Там будет видно! Может быть, это вовсе и не так страшно... и на самом деле я окажусь героем...»

Но как только лег и вытянулся под мягким одеялом на чистой и приятно свежей холодной простыне, сейчас же поймал себя на том, что раз он говорил себе, что не надо думать «об этом», то, следовательно, он думает об этом, и понял, что действительно думает.

Тоска охватила его, и, как всегда, он почувствовал, что если заняться своим телом, то будет легче. Тогда он насильно встал с постели и в одном белье, большой, сильный и красивый, пошел в комнату к горничной Тане. В комнате у Тани светила лампадка и оттого было уютно и пахло чистотой и сном. Таня уже спала, и спящая не была похожа на горничную. Кружево сорочки, которую купил ей Зарницкий, обнажая круглое смуглое плечо, придавало ей вид пышный и сладострастный. Она проснулась, когда Зарницкий стал ложиться

рядом на согретую ею постель, и, открыв темные острые глазки, улыбнулась ему как-то особенно, с почтением прислуги и уверенностью женщины в том, что она нужна и приятна. От нее раздражающе пахнуло на Зарницкого странным смешанным запахом чистого, пахнущего мылом белья, сонной женщины и чем-то похожим на мускус. Он вдруг почувствовал привычное неудержимое сладострастие своего переполненного жизненными соками тела, и, действительно, забывая все мысли и все мучения, стал целовать ее в мягкую, упругую и бархатистую грудь, одной рукой уже стягивая с ее ног и живота рубашку и вздрагивая от прикосновений своих холодных пальцев к неуловимо нежной, горячей, как огонь, коже ее молодого крепкого тела.

По обыкновению, как требовало его исключительно сильное сладострастное тело, он наслаждался долго, замучив покорную, обожающую его, как высшее существо, теплую, гибкую, молодую женщину, и, когда ушел к себе, все тело его сладко ныло от полного разнеживающего удовлетворения, и в руках, и в ногах, и в мозгу была томная, счастливая лень.

Он с наслаждением вытянулся на холодной постели, потянулся и медленно, лениво стал думать.

«В жизни останется еще много хорошего... что бы там ни было...»

Прежней неуловимой мучительной путаницы уже не чувствовалось. Мысль тянулась одна, прямая и спокойная. Вдруг все показалось очень просто и совсем не так ужасно. Только что насладившееся тело подсказало ему то, что нужно было для того, чтобы успокоить и свою душу.

«Что бы там ни было, а если бы меня убили, расстреляли, я уже не увидел бы никогда того, за что я погиб... Какое же мне дело тогда и до торжества революции, и... тому подобное. Я есть центр вселенной, для меня все существует только постольку, поскольку я сам существую, а с моей смертью все исчезает. Значит, я принес бы себя в жертву за мираж, которого для меня после смерти не будет... Это вовсе не трусость, а просто логика... Боязнь других, стыда и тому подобное, вот что действительно трусость... Да, не хочу умирать ни для кого и ни за кого, не хочу и не умру... И те идиоты, которые умрут, будут только идиоты и не больше... Лавренко же говорит, что жизнь есть борьба существования со смертью, а благо жизни в осуществлении своей свободы... Ну, я не хочу умирать, значит, хочу жить, потому что мне этого хочется. Хочу быть свободным, бороться со смертью и мнением людей, и, значит, я прав...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.